



**Дружба
народов**

6/2018



Илья Кочергин

Чувствительность к географии

Мы почувствовали, что находимся уже в Сибири, когда вышли прогуляться на первой станции за Уралом. По крайней мере, нам так показалось. Правда, Урал на юге такой размытый — непонятно, где еще Урал, а где уже нет. И точных признаков Сибири в воздухе, в людях, в пейзажах или в чем-то другом мы выделить не сумели. Но все равно почувствовали, как иначе?

Для меня Сибирь значит много — я ее долго открывал и присваивал, а для Любы это и вовсе родина. Да и встретились мы там. Поэтому мы настойчиво искали ее неясные признаки и убедили друг друга, что почувствовали въезд в Сибирь. Наверное, они, эти признаки, отыскиались в нас самих, внутри.

Сибирь вообще понятие неопределенное. Только на севере Урала, наверное, можно встать на каком-нибудь крутом перевале и увидеть по одну сторону Европу, а по другую Сибирь. А в других местах непонятно. Где заканчивается Сибирь, и где начинается Дальний Восток? Почему Горный Алтай в Сибири, а Монгольский Алтай нет? Сибиряками можно назвать только некоренное население Сибири, а вот бурят, алтайцев, тувинцев или якутов так не назовешь, да они и сами себя так не называют. Моя Люба — наполовину русская, наполовину бурятка — она сибирячка?

Однако я прожил в поездах этого направления месяца три-четыре своей жизни, и всегда чувствовал, что уже въехал в Сибирь или покинул.

Сколько времени я тогда провел, глядя в окно поезда? Сложно сказать. В подобных медитациях время течет как попало — то быстрее, то медленнее. Сибирские пространства в окошке меня, москвича, завораживают.

Это заоконное пространство очень велико и мало населено. Невообразимое количество деревьев, перелески, леса. Культивируемые и некультивируемые поля. Трава и кусты, занимающие какую-то страшную по величине площадь. Болота и заболоченные участки. Я знаю, что это все будет тянуться весь сегодняшний день и завтрашний день и по ночам невидимо проезжать за окном, а потом мы сойдем с поезда, а он так и продолжит путь по этим нечеловеческим по масштабу землям.

Смотришь, смотришь в окно, и кажется, что никакой тихий ежедневный труд не приручит это пространство, кажется, что здесь возможны только коллективные героические, почти нечеловеческие свершения во имя великой идеи. Что-то вроде подъема целины или освоения Колымы. Порывы, жертвы и подвиги.

Сразу хочется такую великую идею. Неважно, что массовые героические свершения чреваты всякими экологическими и гуманитарными катастрофами, все равно хочется примкнуть и участвовать. Защитная реакция нормального человека, глядящего на неоглядные пространства.

Илья Кочергин — прозаик, фотограф. Закончил Литературный институт им.А.М.Горького. Работал на разных работах, в том числе почтальоном, дворником, строителем, пожарным сторожем в Баргузинском заповеднике на Байкале, рабочим геологической партии на Камчатке, лесником в Алтайском заповеднике. Постоянный автор «ДН».

В мае 2018 года в изд-ве «Время» вышла книга «Точка сборки».

Французский историк Андрэ Берелович утверждал, что русские, ушибленные «огромностью и пустынностью» своих пространств, упорядочивали свой мир за счет жесткой иерархичности общества. Только будучи частью ясной системы и иерархии, русские могли чувствовать себя в России уютно.

Может, он тоже по Транссибу ездил в поезде, этот историк, тоже глядел в окошко и пытался разобраться со своими чувствами? Ладно, будем надеяться, что обойдемся без массовых жертв, иерархичности и жестких систем, не такие уж мы и слабые.

А вот то, что огромность и бескрайность могут ушибить, — это он точно подметил. Стоит справиться с первой реакцией на эту бескрайность, моя ушибленность пространством начинает напоминать состояние постоянной легкой влюбленности. Мир огромен и прекрасен.

Все это я впервые почувствовал в молодости, глядя из иллюминатора вертолета на просторы Камчатки, а потом таращась в окошко поезда, идущего по Сибири.

Эту восхитительную ушибленность легко ощутить, когда смотришь с высоты крутого яра над Обью в Барнауле, на котором поставлены громадные, несколько голливудские буквы Б А Р Н А У Л, когда перед тобой за рекой открываются лесные просторы до горизонта.

(Да, мы уже добрались до Барнаула, сошли с поезда и гуляем по городу с Володей Токмаковым).

Стоишь на этой горе над великой сибирской рекой, за тобой центр Барнаула, трубы, подъемные краны, крыши, купола, муравейники современных жилых и офисных зданий, высотки, улицы. А за Обью, которую пересекает новый красивый мост, — сплошной лес до горизонта.

Не знаю, как у Любы, а у меня — сразу предвкушение лежащих впереди, еще не добытых, не завоеванных пространств, у меня сразу виден новый мир.

Сейчас я применю свою силу, ум, изворотливость, талант. Извернусь, пройду первопроходцем, выживу, захвачу, покорю, присвою. Обещание форта такое (мне нравится это сибирское слово — форт).

— Смотри на него! Выехал из Москвы и бодренький такой, смотрит вдаль, даже осанка изменилась, — довольно говорит Люба Володе Токмакову.

Предвкушение нового мира ощущается и в свободной, размашистой планировке Барнаульского университета, мимо которого мы прошли по пути сюда. Наверное, когда-то новые корпуса и широкие солнечные пространства между ними, где может гулять свободный ветер, отражали свежий мир социалистического полета в будущее, мечта о котором теперь угасла. Тут тоже свой простор, мечта о неизведанном и не открытом. О новом, коллективном фате.

А еще при виде всего этого простора и лесных далей просыпается нутряная, смутная память о пути в Беловодье, счастливую страну, находящуюся где-то далеко на востоке. Смутная, но вполне живая, рабочая такая.

В моей семье никто не был никак связан с землями, которые лежат за Уралом. Все предки были из России — из Пензенской, Смоленской, Астраханской губерний. Бабка утверждала, что в Сибири живут одни «тюремщики». Отец, правда, рисовал ее, как страну величественных пейзажей и суровых, романтических ландшафтов, по которым могут пройти только «крутые» парни, но сам был там один только раз в туристическом походе с коллегами по институту. Мои предки покоряли Москву, а не Сибирь.

Кочергины из Астраханской губернии, старообрядцы, могли бы, в принципе, отправиться на восток сохранять веру и искать убежища «в горах и вертепах и пропастях земных» в глуши сибирских лесов, но то ли земли в Камышинском уезде были слишком плодородными, чтобы их так запросто оставить (жили они довольно зажиточно, не голодали и впоследствии были раскулачены), то ли вера не так сильно мешала жизни, но единственный предок, достоверно ушедший на поиски страны с более кисельными берегами и более молочными реками, отправился в 1905 году не в Беловодье, а в Северо-Американские Соединенные Штаты, где бесследно исчез.

А я вот не устоял перед силой этой тяги к заповедному Беловодью и отправился из Москвы на восток — сначала на Камчатку, потом на Байкал в Баргузинский заповедник, а потом последовал (сам не зная того) прямо по маршруту, указанному

в одном из списков «Путешественника» — рукописного документа, имевшего широкое хождение в среде староверов в XIX веке. «Ход от Москвы на Казань, на Екатеринобург, на Тумень, на камский Кабарнаул, на небесной верх, по реке Котуне...»

Теперь мы с Любой следуем этой дорогой, чтобы добраться до Язулы. Скоро проедем Бийск, Горно-Алтайск и начнем подыматься на «небесной верх» по Катунь. А сегодня гуляем по Барнаулу.

Пока Володя, писатель и журналист, проводит для нас экскурсию по городу, мы успеваем остановиться, познакомиться и поговорить на разные темы с десятком человек. Молодые творческие личности, свежий розовощекий помощник главы города, мама с близняшками, которая рассказывает нам о том, как водит своих девочек на иппотерапию. Кажется, что ходишь по знакомому городу, населенному знакомыми людьми. Кажется, что ты свой. Ощущение, недоступное в родной столице.

Володя заводит нас к себе на работу, открывает большую комнату, заваленную книгами. Это созданный им приют для бездомных, брошенных владельцами книг. Володя находит их на улицах, свалках, в подъездах и берет к себе на передержку, пока не найдет для них новых хозяев. Берет породистых — от знаменитых авторов или из серии «Библиотека приключений», «ЖЗЛ», «Библиотека всемирной литературы» — и совсем беспородных. С хорошей атласной бумагой, в дорогих переплетах и бедолаг, родившихся на плохой бумаге в мягкой обложке в голодные девяностые. Новеньких и потрепанных. Жалеет и подбирает на улицах даже глупые, беспомощные создания, выведенные на потеху домохозяйкам и пассажирам поездов.

С трудом пробираясь между стопками, связками, он берет на руки то одну, то другую книжку, открывает, листает, любит обложкой, рассказывает коротенькие истории о них. Пытается пристроить и нам хотя бы парочку бездомных. Но у нас и так переполнены рюкзаки, нам предстоит еще долгая дорога, и мы покидаем приют с ощущением вины.

На следующий день мы пересекаем на автобусе новый красивый мост, любимся издали голливудскими барнаульскими буквами и едем до Бийска, когда-то уже исхоженного вдоль и поперек. Пересадка на автобус до Горно-Алтайска. И вот, еще не доезжая шукшинских Сростков, мы видим, как земля в окошке автобуса из плоской понемногу становится рельефной.

Ночуем мы и вовсе на склоне горы, куда взбираются крутые улочки Горно-Алтайска.

Наша хозяйка Люба Кергилова уже на скорую руку накормила нас с дороги супом, вареным мясом, пловом, консервированными овощами собственного приготовления, лепешками, и теперь ее муж Мерген готовит на дворе шашлыки для основательного застолья. А моя Люба поднялась на второй этаж для более тесного знакомства с малолетней командой — Кайралом, Каримом и Кюнелькой.

— Пацаны вообще не любят ездить в Язулу, — рассказывает их мама. — А Кюнелька только и мечтает. «Вырасту — туда, — говорит, — поеду жить». Папе летом на покосе помогала, на его Сером все копы свозила.

Люба Кергилова родом из Язулы, старшая дочь моего друга Альберта Кайчина. Окончила филологический факультет Горно-Алтайского университета, в нем же осталась работать. Ее муж Мерген служит судебным приставом.

Выхожу к Мергену покурить, оглядываюсь. Завидую их городской и в то же время уютной деревенской жизни — снизу доносится гул машин, мигают огни рекламы, а здесь передо мной огород, у парника лежит громадная тыква, каких мы на нашей даче в жизни не выращивали. Вдоль огорода тянутся сараи, баня. Из земли торчит шланг с вентилем — водопровод. Открывающийся городской пейзаж мне нравится — взгляду есть где разбежаться, дома не заслоняют простор. По горизонту — горы.

Это мое частое состояние в Сибири — все время кому-нибудь завидую.

Поселился бы здесь навсегда, завел бы такой же огород возле дома, по утрам отводил ребятишек в школу — десять минут пешком, шел на работу в университет (еще пять минут ходьбы) или в суд. И не завидовал бы. Но не селюсь, не завожу у дома огород. Завидовать легче.

А что начнется, когда до Язулы доедем, — просторы, теплый запах скотины, свежая убойна, аромат тайги. Вообще изведусь. Отчего же тогда уехал в 97-м году с

Алтая в свою Москву? И лошадь была, и корова с телкой и бычком, огород опять же. Тайга под боком.

— Мерген, а дом вы покупали или сами строили?

— Сами с отцом строили.

Дом снаружи выглядит небольшим, а внутри кажется просторным. Снова приступ зависти. Сами строили свой городской дом, да к тому же с отцом вместе.

Вечером мы сидим во дворе на диване, за столом, едим ароматные шашлыки, смотрим, как на город внизу опускается вечер. Люба Кергилова сообщает свежие деревенские новости, готовит нас потихоньку к Язуле. Тот-то умер, тот-то теперь в Улагане живет, в районном поселке, та родила троих детей, этот на пастушьей стоянке работает.

Вспоминаем наши давние встречи, когда она еще жила с родителями и училась в язупинской школе.

— От вас, дядя Илья, всегда все самое новое и хорошее в Язулу попадало. Я помню, как вы привозили сникерсы, там, всякое такое...

Моя Люба смеется:

— Нет, чтобы доброе что привезти — он сникерсы привозил.

В шесть утра, потемну, за нами заезжает маршрутное такси — японский праворульный минивэн. Мы грузимся и еще кружим в темноте по городу, по адресам, собираем других пассажиров, а потом снова выезжаем на Чуйский тракт, идущий от Новосибирска через Бийск до границы с Монголией, — одну из десяти самых красивых дорог мира.

Интересно, что появление бурханизма среди северных алтайцев в начале XX века, своего рода духовная революция — резкий отказ от шаманизма, от приношений скота в жертву духам, рост национального самосознания — исследователи связывают именно с тем, что старообрядцы оседали на пути в свое Беловодье в красивых и плодородных долинах Алтая, насильно захватывали и распахивали земли, принадлежащие «иностранцам», а начальство глядело на это сквозь пальцы. Путь в страну блаженных полон искушений, так что неудивительно, что Чуйский тракт по красоте на вершине мировых рейтингов.

Когда рассветает, я вижу перемены, которые опять заставляют меня встревожиться — как там в Язуле? Неужели тоже все переменялось?

Сколько раз зимой и летом я трясся в рейсовых ПАЗиках одиннадцать часов до Улагана, разглядывая окрестные поселки и пейзажи! Для меня, москвича, даже уже прожившего здесь некоторое время, это было необычное, загадочное, новое пространство. Казалось, что жизнь тут идет по другим законам и обычаям, что время тоже идет по-своему.

Другие линии горизонта, другие цвета, другие звуки, другая логика, другие понятия.

Хотелось присвоить это пространство, разгадать, узнать, стать здесь хоть чуть-чуть своим. Хотелось учить язык, на котором говорят названия местных рек и гор. Взглянуть на себя и на окружающий мир, на привычные вещи с несколько другой точки зрения и удивиться чему-то новому.

Теперь древний торговый тракт, разрезающий республику почти пополам, превратился в путепровод для доставки на Горный Алтай туристов. А обочь дороги выросли турбазы, гостевые домики и сувенирные магазины. И совсем не обязательно узнавать что-то новое, чтобы успешно существовать и ориентироваться в этих пространствах. Это ничем не труднее, чем совершить пересадку в международном аэропорту во Франкфурте.

Люба, обычно жадно смотрящая в окошко, задремала у меня на плече до самой Туекты, где мы быстро, дешево и вкусно перекусываем в придорожном кафе.

«За Туехтой начинают встречаться древние курганы, по-местному бугры, остатки прежних жилищ, каменные бабы. Все эти памятники, попадающиеся то здесь, то там вплоть до монгольской границы, свидетельствуют о когда-то живших здесь и ушедших отсюда иных насельниках, седая память о которых сохранилась лишь в местных былинах», — писал инженер Вячеслав Шишков, автор «Угрюм-реки», в 1914—1916 годах проводивший изыскательские работы по расширению Чуйского тракта, где на узкой тропе в горах иногда не могли разъехаться две повозки.

И сегодня вдоль этого пути на скалах можно увидеть древние петроглифы, то справа, то слева лежат каменные курганы с плоской верхушкой, стоят каменные бабы — кезер таш — вытесанные из камня фигуры древних богатырей. Сто лет назад Шишков с укором «сибирскому обществу» отмечал, что «на их каменных носках упражняются в метании камней проходящие возчики груза». Сейчас каменных витязей не обижают, туристы фотографируются с ними, даже оставляют им скромные подношения — монетки и конфеты. Однако ветер носит по долинам полиэтиленовые пакеты, на обочинах валяются пластиковые бутылки, на склонах блестит битое стекло. Это укор уже не только сибирскому обществу. В Рязанской области, где у нас дача, обочины ничуть не чище, даже, пожалуй, более замусорены.

За Купчегеном, возле скалы Кор-кечу, древние курганы соседствуют с еще видными на земле рвами — следами «командировки» 7-го отделения Сиблага. Узкий неудобный, «многогрешный и многострадальный» по словам Шишкова, Чуйский тракт был превращен в автомобильную трассу силами политзаключенных в 1932—1933 годах, которые жили (и умирали) во временных лагерях «командировках», организованных через каждые 15—20 километров вдоль тракта. Основную массу заключенных составляли сибирские раскулаченные крестьяне, но было и много москвичей. Где-то возле Мыюты находилась женская «командировка».

Трасса получилась красивая — на перевал Чике-Таман поднимается изящный серпантин, иногда шоссе вьется вдоль Катунь по прорубленному в бортах уступу. Трудно представить, что все эти скальные работы велись вручную голодными людьми.

Я тоже закрыл глаза и в полусне выхватываю обрывки смысла из рассказа водителя Миши, который делится своими впечатлениями о Дальнем Востоке. Речь идет о его работе на морском корабле — рейсы с Сахалина на Курилы, Камчатку...

Сейчас многие ездят с Горного Алтая на заработки на Дальний Восток. Из Язулы несколько ребят ездили, в этом году младший брат Любы Кергиловой, Байрам, отработал несколько месяцев на рыбзаводе, тоже, наверное, открывал новые для себя, неизведанные пространства, океанское побережье. Некоторые перебираются на постоянку вместе с семьями — говорят, там хорошо платят учителям, врачам.

Мало что из Мишиной речи понимаю — разговор ведется на алтайском, но пассажиры меняются, Миша начинает снова, а я снова вслушиваюсь.

Чем дальше мы едем по Чуйскому тракту, чем дольше говорит по-алтайски Миша, тем более привычными и загадочными становятся пейзажи. Теми, какими они были для меня двадцать пять лет назад. Все меньше турбаз, торговых точек для туристов. А после Акташа, когда мы сворачиваем с тракта в сторону и взбираемся вдоль ручья вверх, я вовсе оказываюсь на своем Алтае. Где горы видятся заснувшими богатырями, у которых легко различить голову — баш, поросший лесом хребет — арка, плечо — ийин, подол шубы — эдек. Здесь вершинки по-прежнему водят хороводы и играют в свои семирадостные игры. Здесь хочется заглянуть за каждую маленькую горную седловинку, потому что интересно, потому что там наверняка скрывается что-то хорошее.

В проигрывателе, безостановочно работающем всю дорогу, вдруг начинает звучать песня «Эркелей» из девяностых, и я окончательно оказываюсь там, куда и ехал.

Соок кышкыда сени мен жылыткам,
Ачу ыйлап, ады?ды адагам...

Коротенький перекур на перевале, и мы подъезжаем к Улагану.

Миша начинает свой рассказ заново, но теперь уже по-русски для нас. Потом мы немного обсуждаем общих старых знакомых, потом он высаживает нас в нужном месте. Мы проехали тот путь, что раньше требовал одиннадцати утомительных часов в рейсовом автобусе, всего за шесть.

Рустам уже ждет нас вместе с Алёшей Темдековым, учителем рисования в язупинской школе. Рустам — еще один брат Любы Кергиловой. Он приехал за нами из Язулы на своем уазике.

Но для начала нас заводят в ближайший дом, незнакомая женщина кормит нас пельменями и поит чаем. В соседней комнате тоненько кряхтит младенец. Мы едим и пьем, благодарим и садимся в машину.

— Это была Алёшина теща, — сообщает мне Люба.

Она гораздо быстрее меня разбирается в семейных отношениях, лучше запоминает имена и людей, — я, наверное, слишком отвлекаюсь на пейзажи, воспоминания и попутные соображения.

— У меня дочка родилась, — сообщает нам Алёша. — Две недели назад.

— Как назвали?

— Назвали Амелия.

Мы едем над рекой Башкаус, и я вижу, как расстроился Улаган — на той стороне вырос целый район.

Улаган — центр большого района на востоке республики Горный Алтай. Находится на высокогорном плато. В 16 километрах от поселка, в урочище Пазырык расположены курганы, раскопанные в 1949 году профессором Руденко. В захоронениях знати V—IV веков до нашей эры были обнаружены мумии вождей, прекрасно сохранившиеся колесница и самый древний в мире ковер, находящиеся теперь в Эрмитаже.

Еще в одном погребении пазырыкской культуры (недолго просуществовавшей, но самой яркой культуры эпохи раннего железа), раскопанном в 1993 году археологами из Новосибирска на плато Укок, была найдена знаменитая «принцесса Алтая», с которой связано много слухов и скандалов. История раздувалась в прессе и по телевидению на центральных каналах, правда и домыслы причудливым образом перемешивались. Природные катаклизмы, произошедшие на Алтае за последние два десятка лет, неторопливая молва и быстрые журналисты часто связывают с тем, что ученые потревожили дух покойной, вынули из могилы и увезли защитницу Алтая.

Немногие по-настоящему верят в то, что из кургана извлекли героиню эпоса Очы-бала, или Белую Госпожу Ак-Кадын. Но время, когда на плато Укок был раскопан могильник Ак-Алаха, совпало с крушением Советского Союза, распадом колхозов и совхозов.

Жизнь людей резко изменилась и еще не успела наладиться. Вполне сказочные, но ставшие привычными советские способы ведения народного хозяйства и выполнения плана умерли. Например, заброска вертолетами сена в высокогорную тундру для подкормки сарлыков (домашних яков), которая делала этих сарлыков «золотыми» по себестоимости, прекратилась, а значит и поголовье резко сократилось. А как жить дальше — было пока неясно.

Создалась ситуация какой-то глухой неясной обиды, а тут еще приезжие тревожат сон предков. Потом объявляют, что принцесса — европеоид. Потом какой-то западный профессор по телевизору говорит, что останки все-таки принадлежат человеку монголоидной расы. И то и другое подогревает недовольство.

Да и кадры из фильма, где видно, как археологи в полевых условиях поливают вмерзшие в лед останки кипятком, способны шокировать любого. Не лучше ли было перевезти мумию в деревянном саркофаге в Новосибирск и разморозить в лабораторных условиях?

Одним словом, тема принцессы Укока так и остается довольно болезненной как для местного населения, так и для археологов, которым теперь периодически пытаются помешать вести дальнейшие раскопки.

От Улагана по автомобильной дороге можно спуститься в долину реки Чулышман и добраться к южной оконечности Телецкого озера. А нам нужно проехать сто километров в другом, восточном, направлении и очутиться в поселке Язула, своего рода тупике, куда не так уж часто забираются туристы.

Через час минуем Саратан, где Рустам захватывает в Язулу посылку кому-то и пару ящиков гвоздей для строительства снегозащитных ограждений. Здесь заканчивается сотовая связь.

От Саратана до Язулы дорогу пробили в 1991 году, до этого существовала только конная тропа, и дважды в неделю летал вертолет. В начале девяностых пассажирские вертолетные рейсы отменили, и добираться приходилось попутным транспортом — в тракторной телеге или кузове грузовика. Шестьдесят километров дороги от Саратана до Язулы занимали тогда целый день с перекусами на пастушьих стоянках и дружескими возлияниями на перевалах.

Теперь дорога хорошая, и мы преодолеваем это расстояние всего за три часа.

Пространство то открывается, и тогда видны уходящие вдаль долинки, склоны, далекие вершины, то сужается до дороги, идущей через лес.

Возле мостика через ручеек останавливается единственная от Саратана встречная машина, такой же уазик. Мы умываемся, зачерпывая ладонями воду. Рустам с Алёшей остаются поболтать с водителем, а мы с Любой уходим пешком дальше. Шагаем еще все такие городские, Люба даже не успела переобуться и идет на каблуках по светлой грунтовой дороге через яркую осеннюю тайгу. Перепархивают и кричат кедровки. Печет солнце. Воздух по-осеннему прозрачный, цвет неба густой. Лиственницы, кусты карликовой березки, трава уже желтые. Горы четкие такие, праздничные, в макияже. Мир велик и прекрасен.

— А ты боялся ехать! — говорит Люба.

Успеваем пройти не меньше километра, когда нас подбирает машина Рустама. А вскоре дорога резко уходит серпантином вниз, в долину Чулышмана, и внизу, на той стороне, уже видны рассыпавшиеся по склону домики Язулы.

Километрах в пяти за ней начинается заповедник. А еще дальше в полусотне километров — хребет, отделяющий Алтай от Тувы, Западную Сибирь от Восточной.

Алтайский заповедник был образован в 1932 году. Он пережил два закрытия: в 1951 и 1961 годах, утратил часть территории за Абаканским хребтом (в 30-е годы туда планировал устроиться лесником Карп Лыков, отец знаменитой отшельницы Агафьи Лыковой), однако остается одним из крупнейших заповедников России.

В заповеднике запрещены всякая хозяйственная деятельность, охота, рыбалка, сбор грибов и трав. Его территория за исключением водопада Корбу недоступна для посещения. Природу здесь старались сохранить в неприкосновенном виде и в ту недавнюю эпоху, когда она считалась врагом человека, стараются и сейчас, когда она является восполнимым ресурсом.

Но даже охрана границ и запрет хозяйственной деятельности в наше время не могут гарантировать чистоту местных рек и почвы. Бассейны Чульчи, Кыги и Кайры давно находятся в зоне падения отделяющихся частей ракетносителей «Протон-М», запускаемых с космодрома Байконур. В тайге часто приходилось видеть участки обильно замусоренные из космоса. До недавнего времени в заповеднике можно было встретить и неразорвавшиеся огромные «бочки» — топливные баки для ракетного топлива «Гептил», которое является сильным ядом.

Несколько лет назад явно видимый мусор был собран, свежие «бочки» распиливаются и вывозятся вертолетами, что, однако, не препятствует загрязнению земли и воды ядовитым топливом.

Охотятся в заповеднике местные жители, заходят браконьеры с территории Тувы, переваливая хребет. В южной части, в районах высокогорной тундры заезжают и на машинах. Без мощной государственной поддержки охрана территории держится практически на подвижничестве работников заповедника, совершающих трудные многодневные выходы в тайгу.

Сильно вырос за последние годы и туристический прессинг. Горный Алтай посещают около миллиона туристов в год. Знаменитое Телецкое озеро является одной из главных достопримечательностей Горного Алтая, а между тем весь его восточный берег относится к территории заповедника.

Неконтролируемый приток туристов уже сказался на чистоте вод Байкала, главного на планете хранилища пресной воды. Самодеятельные базы отдыха и отдыхающие за последние годы нанесли озеру урон не меньший, чем печально знаменитый Байкальский целлюлозно-бумажный комбинат и действия гидроэнергетиков. Стремительное распространение нитчатой водоросли спирогиры, которая губит экосистему «славного моря», по словам экологов, связано с загрязнением воды канализационными стоками турбаз, моющими средствами и бытовыми отходами туристов, иначе говоря, является результатом превращения Байкала в туристический бренд без создания правильной инфраструктуры.

А Телецкое озеро во много раз меньше Байкала.

В 1998 году заповедник объявлен объектом Всемирного природного наследия Юнеско. Однако его лучшие времена все же остаются в прошлом, в 70—80-х годах, когда главную усадьбу и кордоны оснастили дизельными электрогенераторами, построили новые дома, вертолеты забрасывали в тайгу патрульные группы и регулярно залетали на отдаленные кордоны иногда только лишь для того, чтобы скинуть лесникам выписываемые газеты или журналы. Активно велась научная работа.

Жизнь на кордонах или в центральной усадьбе перестала быть чем-то экстремальным, требующим самоотречения, и сюда потянулись работать романтики из городов.

В восьмидесятых практически ежедневно в контору заповедника приходили письма со всех уголков Советского Союза с вопросами о возможности устроиться на работу. Приток молодых ребят, жаждущих сибирской экзотики, жизни на природе и таежных походов был необычайно велик. Большинство уезжало в первые месяцы, девять из десяти — после года работы, но некоторые оставались навсегда, а штаты заповедника всегда были забиты под завязку.

Были и серьезные молодые люди, закончившие лесотехническую академию, биофак МГУ или охотоведческий факультет Иркутского сельхозинститута, которые приезжали более осознанно, готовились посвятить свою жизнь заповедному делу. Однако впечатлял именно поток романтиков, ищущих и пока не нашедших свое предназначение.

Еще в начале 90-х последние дети Советского Союза, свежие и недоученные, начитавшись Кастанеды и Блаватской поверх Джека Лондона, Арсеньева и Куваева, наслушавшись Пинк Флойда и бормоча Визбора, надевали рюкзаки и ехали искать свои Беловодье, Шамбалу или Территорию. Приехав в заповедник в 1990 году, я в первые же дни познакомился с ребятами из различных городов и поселков Европейской России, Сибири, Украины, Молдавии, Казахстана, Белоруссии.

Кто-то готовился овладевать шаманскими знаниями, кто-то — стригся налысо и отправлялся в тайгу босиком, кто-то читал наизусть и писал стихи, кто-то отрабатывал приемы Шаолинских монахов и обливался холодной водой, кто-то собирался пробраться в монгольские буддийские монастыри.

Может показаться, что этот прилив молодых маргиналов был пеной, которая потихоньку схлынула, вернее, превратилась в совсем тоненький ручеек к концу девяностых и не оставила следа. Но во-первых, некоторые из них нашли то место для жизни и то занятие, которые им по душе, и до сих пор работают в заповеднике. А во-вторых, настоящий контакт с дикой природой, который состоялся в молодости, не может пройти бесследно для горожанина.

Современный мир, который человечество соорудило для себя («одомашненный мир», по словам профессора Джедедаи Перди), враждебен дикой природе, хотя на эту дику природу всегда ссылаются как на то, что следует охранять и беречь. Отношения между современным человеком и дикой природой практически умерли, природа существует «где-то там», а специалисты ее охраняют, изучают и каталогизируют. Эту природу современному городскому жителю невозможно по-настоящему «потрогать», вступить в контакт с диким животным, ощутить на себе его взгляд, который когда-то, как писал Джон Берджер, дал возможность человеку ощутить себя человеком.

Дикие животные ушли, их заменили изображения диких животных. «Чем меньше остается животных, тем чаще их изображают... Таков наиболее существенный признак осознания природы в эпоху постмодерна», — пишет Александр Пшера.

Об этом способе восприятия природы почти двести лет назад писал Тютчев: «Не то, что мните вы, природа: не слепок, не бездушный лик...». Однако сейчас он стал общераспространенным.

Трудно с уважением относиться к тому, что не занимает никакого места в твоей жизни, трудно беречь то, с чем ты никогда не сталкивался. Но тем ребятам, которые проработали лесниками хотя бы год, удалось по-настоящему вступить в контакт с этой дикой природой — померзнуть у таежных костров, протоптать свою лыжню в безлюдных пространствах, встретиться в природе со зверем — маралом, медведем, сибирским козерогом.

Эти встречи с теми, кто независимо от тебя и одновременно с тобой живет в этом мире, делают и тебя более «чутким обитателем своего внутреннего леса», по словам поэта Юлия Сюпервеля.

И возможно, тот обмелевший поток романтиков только первый, еще не самый осознанный и не самый массовый. Может быть, в будущем мы увидим и вполне прочувствуем даже из своих крупных городов новые волны уезжающих на природу молодых людей.

Ну и в-третьих, просто хочется сказать что-то хорошее в защиту маргиналов, которые пытались выбрать путь чуть отличный от общепринятого покорения крупных

городов, овладения прибыльной профессией и приобретения квадратных метров жилплощади в престижных районах.

Вот, что говорит Википедия: «Маргинал, маргинальный человек, маргинальный элемент (от лат. *margo* — край) — человек, находящийся на границе различных социальных групп, систем, культур и испытывающий влияние их противоречащих друг другу норм, ценностей, и т.д. В современном русском языке это слово ошибочно употребляется как синоним понятия "люмпен" (деклассированный элемент)».

Маргиналы, это те возможные связи с миром и те возможности, те непроторенные тропинки, которые могут пригодиться, если выбранная обществом дорога окажется ошибочной, если придется резко менять маршрут, или если устоявшийся способ жизни больше не будет работать.

И неудивительно, что те ребята 80—90-х годов выбирали Сибирь для поисков самих себя. Она занимает около 70 процентов территории России, а проживает в ней меньше 20 процентов населения. Огромная и малонаселенная Сибирь, которая пока используется практически только как ресурс, это территория, не освоенная до конца в культурном плане. Здесь возможны находки новых смыслов, новых идей и новых возможностей. Сибирь — это всегда немного то, что скрывается за перевалом...

Мы плохо чувствуем огромное тело своей страны, словно подростки, не свыкшиеся еще со своими вымахавшими конечностями. Тело работает, иногда устает, истощается, требует отдыха или болит. Но оно для нас только ресурс, мы пугаемся и злимся, когда оно подводит нас.

Я думал, что люблю свою страну, но пока не попал работать в заповедник, я не знал, что на Горном Алтае проживают алтайцы и говорят на алтайском языке. Я не знал, что такое Шория и Хакасия, считал, что Тува — это город то ли у нас, то ли за границей. И если бы весь Горный Алтай вместе с соседними Тувой и Хакасией вдруг исчез с карты мира, я бы ничего не почувствовал. Не заметил бы просто.

Когда я, ушибленный пространством, немного ошалевший от того, как быстро меняется привычный мир (до развала Союза оставался всего год), как стираются и создаются новые границы и смыслы, прибыл сначала на север Камчатки, потом в Баргузинский заповедник, а потом в Алтайский, я открывал для себя и свою страну, и свое тело. От езды в седле начинали мучительно болеть какие-то неведомые мышцы под коленками, от лямок рюкзака немели плечи, ладони покрывались волдырями от работы с топором, непривычные пальцы с трудом додаивали корову. Ходьба на широких охотничьих лыжах, махание литовкой на покосе.

Пришлось осваивать и неведомые мне умения. Работа шилом и крючком, чтобы сшить себе обутки для лыж или починить седло, выделка кож, выпечка хлеба, а в тайге — лепешек, разделка животных, тесание жердей, сметывание стогов, отбивание косы, лечение лошадей, ловля лошадей, перекладка печи, доение коровы и выкармливание телят. Самым экзотическим делом, которое мне пришлось освоить, явилось размельчение поджаренных зерен ячменя с помощью каменной зернотерки. Суровые 90-е, которые называют голодными или «лихими», на заповедничком кордоне казались мне спокойными, интересными и счастливыми.

Заповедник за короткое время моей работы в нем очень много мне дал. А потом, к заповедному берегу Телецкого озера подчалил катер, с которого спустилась на берег Люба, студентка Новосибирского университета, открывающая свои новые пространства. И за это я тоже благодарен заповеднику.

Первый кордон, на который я устроился, находился в восьми километрах от алтайской деревни Язула. На одной из язулинских пастушьих стоянок я тогда и познакомился с Альбертом Кайчиным. Наша дружба продолжается уже двадцать семь лет. Много раз я приезжал к нему с кордона Чодро, на котором потом работал, и из Москвы. В Чодро он тоже гостил у меня, а вот в Москве ни разу не был.

Услышав остановившуюся у дома машину, он выходит нас встречать. Рядом его жена Валя, сын Байрам.

— Альберт, Валя! — кричит Люба.

А мы с Альбертом вроде ничего и не говорим, просто смеемся. Обнимаем друг друга и снова смеемся.

И вот мы сидим в аиле, который, кажется, совсем не изменился, как не

изменился за четверть века и его дом — разве что по мелочам. А в главном — нет, не изменился, здесь уютно и спокойно, здесь хорошо себя чувствуешь, здесь живет счастливая семья.

Полезно иногда пожить несколько дней в большой счастливой семье. Ни с чем не сравнимое ощущение.

Этот шестиугольный аил Альберт строил сам, сам крыл крышу корой лиственницы, которая летом так хорошо защищает от жары. Верхние венцы, сходящиеся к отверстию дымохода — тунюку, так закоптились, что блестят словно бронзовые.

Альберт сам строил дом (тес крыши уже чуть позеленел от времени и непогоды) и клал в нем печку-каменку, которой уже тридцать с лишним лет. Прочная печь, только чуть осыпаться изнутри стала.

А сейчас на дворе уже стоит новый сруб для Байрама, пока еще холостого. За оградой по соседству дом и аил старшего Рустама, у которого уже своя семья и двое детишек. У Любы Кергиловой трое, у младшей Юлечки, которая вышла замуж здесь, в Язуле, тоже уже трое пацанов. Альберт и Валя, с которыми я познакомился, когда у них было двое детей, теперь стали дедушкой и бабушкой шести внуков и двух внучек.

Байрам окончил биофак Горно-Алтайского университета, потом работал медбратом в Акташе, летом отправился на Сахалин, теперь выбирает, чем ему заниматься дальше. Зовут в язulinскую школу учителем, но мир прекрасен, огромен и не полностью открыт. В Язуле ему как будто немного тесно.

— Хочу еще на Сахалин съездить. А вообще, открыли бы здесь «Мария-Ра». Можно было бы товары по акциям покупать! — мечтательно говорит он. «Мария-Ра» — барнаульская сеть супермаркетов, распространенная в Южной Сибири.

Байрам стоит, засунув руки в карманы, улыбается и смотрит куда-то вдаль за дом. За домом в ельнике ручей, куда с коромыслом спускаются за водой Альберт или Валя. С другой стороны — чулан и стайка для коров. Еще ниже по течению ручья огороженный луг, где пасутся три лошади Альберта. А еще ниже, в десяти километрах по Чулышману, — стоянка, где зимой Альберт постоянно дежурит — приглаживает за своей скотиной. За скотом постоянно нужно следить — коров режут зимой волки, лошадей часто угоняют тувинцы.

Несколько лет назад Альберт и еще несколько язulinцев даже ездили в Туву за угнанными лошадьми и добрались до центра Бай-Тайгинского кожууна, села Тээле. Часть лошадей вернули.

— Как же два-три человека могут угнать табун и перевести его через горные перевалы? — спросил я как-то Альберта.

Он объяснил, что пара людей начинает ездить вокруг табуна и закруживать его. Кружат, кружат, потом один из всадников отъезжает, следя за тем, чтобы за ним пошел вожак табуна, остальные лошади послушно следуют за ними. Второй всадник лишь подгоняет отстающих. В Москве один знакомый, услышав от меня об этом приеме, заметил:

— Когда я на фондовой бирже работал, часто такое видел.

Нас положили спать в одной из двух комнат дома. Стены беленые, потолок голубоватый — беленый с синькой, по стенам и на полу ковры. С нами же в комнате спят Валя и Байрам, а Альберт предпочитает не расслабляться в тепле и ночует пока в аиле, хотя ночи уже по-осеннему холодные.

На следующее утро по моей просьбе Альберт ведет нас на один из выгоревших за лето холмов с выстриженной скотиной травой. На холме, на деревенском кладбище лежит Абай.

Поидон Сопрокович Марлужоков, или Абай, как его звали для краткости, тридцать лет проработал в заповеднике, на кордоне.

Я устроился на кордон, когда еще была жива его жена Ульяна Лазаревна (или Абе). Через полгода Абе, которая была старше мужа на двадцать лет, умерла, и старик остался один. Мы дружили с ним, он учил меня премудростям деревенской жизни — колоть дрова, ходить на лыжах, отбивать литовку, косить, метать стога. Я помогал ему, он мне.

Маленький, часто как будто чему-то удивленный, с беспомощной хитрецей, которая ему никогда не удавалась, бездетный. Пока мог, он жил на кордоне, где у него был дом и аил, в последние несколько лет переселился в деревню, поближе к людям.

Ему отвели дом, помогали по хозяйству, он проводил много времени в семье Альберта. Умер четыре года назад.

— Так один и умер, — говорит Альберт. — Хоть люди и не бросали его, а без детей все равно один умрешь. Упал, ушибся головой, и — все. Он же последние годы как пьяный ходил, качался.

Помню, как Абай все время жаловался, что так и не получил медаль «Ветеран труда», хотя имел положенный стаж. «Там в Москве скажи главному профкому, что — так и так, Марлужоков без медали».

Я работал уже на другом кордоне, когда, съездив в отпуск в Москву, привез и вручил ему медаль, оставшуюся от моего отца. Сказал, что «главный профком» слышал о Марлужокове и просил передать, извинялся только, что удостоверение выписать не может: Союз уже развалился, удостоверения больше не выпускают. Абай спрятал медаль, не поблагодарив, — за что благодарить, если награда дана по справедливости? Вскоре поехал в Улаган требовать добавку к пенсии.

Мы долго сидим на склоне холма. С кладбища открывается великолепный вид на деревню. Вовсю играют свою музыку саранчи, внизу видно лошадей, по очереди встряхивающих гривой и в такт музыке стучающих по земле копытом.

После обеда мы с Любой поднимаемся на другую гору — идем на работу к Юле, младшей дочке Альберта. Она работает фельдшером. «Фельдшер-акушерлик пункт» гласит красная табличка на больнице. Небольшой палисадничек, голубое крыльцо, рядом — огромные тарелки спутниковых антенн и большая поленица колотых дров на зиму. Топят больницу в холодное время года Альберт или Валя. Внутри коридор, несколько кабинетов с аккуратными белеными стенами, Юля в марлевой повязке на лице моет полы.

Работа беспокойная: следи за больницей, бегай по вызовам и днем, и по ночам. То вакцинация, то сопровождай больного в Улаган на попутной машине. Поэтому с детьми сидит муж.

— Сидит, в окошко смотрит, хочет на стоянку, в тайгу, на охоту. Но ничего, сидит, — довольно говорит Юля.

Идем к Рустаму с Олей. У них в семье с детьми тоже сидит муж: Оля работает в школе учительницей английского языка. Рустам, быстрый, энергичный, с удовольствием водит нас по двору и показывает нам свое хозяйство — машины, новый аил, баню, сараи, щенков, которые должны вырасти в хороших собак, бензиновый генератор, но, войдя в дом, скучнеет. Рустаму в Язуле вовсе не так тесно, как Байраму — забот и планов полно. Надо обустроить стоянку, строить там новый скотный двор, баню. В прошлом году он проложил до стоянки дорогу на тракторе. Сейчас нужно везти в Улаган коров продавать, недавно заготовил для больницы, для себя и для родителей дрова на зиму.

Старший сын Рустама, шестилетний Ренат, встречает нас радостно — в прошлом году он гостил у нас в Москве с папой и мамой. Любу он называет «эдь» — тетка или старшая сестра, меня зовет «дядя». Младшенькая Регина пока приглядывается.

А завтра мы с Альбертом вдвоем отправляемся в тайгу. Себе он седлает Серого, который с возрастом стал почти белым, мне — коня неопределенного окраса, который отличается тем, что любит все прыгать. Привязанный к забору, конь начинает глотать пакетины.

Раньше мы с Любой часто выбирались в тайгу из Москвы на месяц-полтора. Она вполне освоилась с походной жизнью, ночевками у костра. Но сейчас она остается дома.

— Это приятно — сидеть дома и ждать, пока мужчина в тайге!

Погода испортилась, мы выезжаем в дождь, который утихает только ночью. Едем по тем местам, куда впервые ездили вместе на охоту двадцать семь лет назад, в сторону от заповедника. Вершины уже белые и мне хочется послушать, вспомнить, как режут маралы. Сейчас у них должен начаться гон, во время которого быки вызывают друг друга на поединки. Но это, конечно, не главное. Главное — снова поехать вдвоем с другом в тайгу, помолчать во время дороги, посидеть у костра.

Альберт открывал мне окружающий Язулу мир, открывал мне Алтай. Учил различать следы (правда, я очень плохо освоил эту науку), рассказывал были и сказки, истории о лошадях, которых он очень любит, животных и людях, говорил, что означают названия местных рек, урочищ и гор. Стоило Альберту чуть-чуть увлечься,

и он добавлял в рассказ новые детали, которые казались к месту, которые украшали рассказ или делали его живее. Смешивал щедрой рукой реальность и выдумку.

Целебный источник у Чулышмана охранялся змеями толщиной с ногу, черти-кормосы катали Альберта по земле, когда он заснул в засидке, карауля марала. Белые козочки уводили в тайгу незадачливых пастухов и оборачивались старухами, алмысы заплетали в косички гривы лошадей.

И окружающее пространство становилось понятным и густонаселенным. Не так уж важно, кто его населял — люди, звери или духи. Местность становилась для меня обитаемой и пригодной для обитания, немного своей.

А в эту поездку мы даже мало болтали. Девять лет уже не виделись, надо сначала хорошенько намолчаться вместе, привыкнуть. Какой смысл вываливать на друга все события, которые происходили в эти девять лет или мелочно перебирать старые воспоминания? Гораздо лучше вместе усесться на склоне долины и смотреть на противоположный склон, выглядывая в бинокль зверя. Биноклевать, как здесь говорят.

Сидеть вместе и с интересом и вниманием разглядывать желто-зеленый склон, вести взгляд вдоль подножия склона, вдоль последних лиственнок и елок, где, кажется, вьется тропка.

— Вот они оттуда часто проходят вниз, — показывает Альберт рукой.

И мы снова смотрим напряженно и внимательно.

Вечером, после ужина, как только устраиваемся под елкой на потниках и накрываемся пленкой от дождя, Альберт начинает похрапывать. А я еще долго лежу без сна, вспоминая, сколько таких ночевок у меня было в те годы, когда я жил на Алтае. Осень казалась мне самым веселым временем года — золотой сентябрь, бодрый октябрь и роскошное первозимье. А после Нового года ждут бесконечные лыжные походы до самого марта.

И наконец слышу, как на той стороне долины, где-то на верху склона, коротко трубит марал.

— Слышал? — хриплым голосом по-алтайски спрашивает пробудившийся Альберт.

— Слышал.

Это был всего один короткий крик марала за всю нашу поездку. А раньше я подолгу сидел на склонах и слушал переливы этой осенней музыки.

За ночь выпал снег, и мы едем утром по изменившейся тайге. Чернь, золото и серебро. Ветра нет, и снег неподвижно лежит на ветках. Альберт иногда дудит в деревянную абыргу, но маралы не отвечают.

Альберт уже давно не ездит на охоту. И я знаю, что не буду стрелять в зверя, если увижу его, но охота, особенно охота вместе с Альбертом Кайчиным, — это большое удовольствие. Именно так — с карабином за спиной, верхом, в тайге, покрытой свежевыпавшим снегом.

Следующую ночь мы ночуем вместе с Володей Карабашевым, встретившимся нам по пути. Останавливаемся рядом с Оттутыт — Костровой лиственницей и разводим свой костер недалеко от нее. Утром, перед отъездом, отходим от тропы и сняв шапки привязываем к веткам ленточки тьялама.

Будучи в тайге один, я никогда не привязывал ленточки и не «кормил» огонь, как иногда делают русские лесники, копируя местных жителей. Но сегодня я с удовольствием выполняю этот обряд. Альберт еще дома приготовил кусок новой материи, и сейчас делит его на троих.

Я говорю:

— А в Бурятии наоборот в шапках водкой брызгают и ленточки привязывают.

— У нас тоже по-разному бывает, — отвечает Альберт. — Вон, в Кош-Агачском районе тоже шапки надевают, когда тьялама вешают. А мы снимаем.

Самый необычный обряд, в котором я участвовал, состоялся в Боханском районе Иркутской области, откуда родом Любин отец. Это было знакомство с Любиными предками.

Дядя Виталий повез нас из Бохана на машине в исчезнувшую ныне деревню Бураевск, где до этого ни я ни Люба не были, где родился ее папа.

В последнем на пути магазине дядя Виталий велел мне купить две самые маленькие бутылки водки. Самые маленькие, имеющиеся в наличии, оказались по 0,7 литра.

— А почему заранее нельзя было купить?

— Можно, но до места не получится довезти — там по дороге нужно брызнуть, здесь нужно. Много мест всяких проезжаешь. А с початой бутылкой неприлично приезжать.

Миновали заросшие бурьяном поля, дядя Виталий неодобрительно цокал и качал головой — раньше все засеивалось. Бросили машину в конце проселочной дороги и отправились по лугу, через ручей с чистой холодной водой к зарослям крапивы и иван-чая, обозначившим место, где жил человек. Ходили, искали столбик, нашли.

— Вот здесь, — сказала тетя Катя. — здесь был дом.

Рядом старое кострище, мы развели костер.

Посидели, наливали в пиалушку водки, говорили что-то по-бурятски, плескали в пламя, опять говорили. Пригубляли, передавали дальше. Плескали не скупясь — оставлять нельзя, надо допить, а допивать почти все выпало мне, дядя Виталия за рулем, женщины много не выпьют.

Дошла очередь до Любы.

— Так и скажи: «Здравствуй дед Игнат, здравствуй бабушка Бальжуха. Я правнучка ваша Люба. Приехала вот с мужем к вам». Расскажи, как живете, какой сын у вас, где работаешь. Не стесняйся.

Она начала, сказала немного, потом заплакала.

Я тоже как-то неуверенно говорил. На живых дедушку Игната и бабушку Бальжуху еще можно было бы попытаться произвести впечатление, расположить к себе. А тут вроде прямо и ясно нужно говорить: кто такой, что из себя представляю, зачем приехал. Трудно.

Но я рад, что поговорил с предками моей жены. Погостил в доме, которого давно уже нет.

Привязывать тьялама вместе с язюлинцами тоже хорошо. Чистые белые ленты на черных мокрых ветках, чистый снег. Альберт и Володя без шапок аккуратно расправляют ленточки, разглаживают.

Я представляю, как все эти язюлинские места, вся окружающая тайга, которую Альберт населил для меня людьми, животными и сказочными существами, там и здесь сигналият маленькими белыми ленточками, отражая чьи-то надежды, просьбы, желания, отмечая чье-то присутствие.

Потом приводим с поляны коней, седлаем, болтаем.

Володе Карабашеву было четырнадцать лет, когда я приехал на кордон, он меня помнит. А я хорошо помню его отца, Илью Самсоновича, жившего на пастушьей стоянке на другом берегу Чулышмана. У них в семье было двенадцать детей. Однажды Илья Самсонович сгоряча, когда с вертолета выгружали привезенные для магазина продукты, купил в деревне мешок лаврового листа и привез жене на стоянку. Просто схватил мешок, как хватали все, сунул в сани и сказал, что деньги отдаст продавщице. А потом несколько раз заходил ко мне и, достав из кармана рубахи пару листиков, спрашивал: «Хорошо?» По-русски он почти не говорил. Я заверял, что хорошо, но мне не нужно, у меня пара пакетиков есть, и мне хватит. «Что за лист такой — даже овцы не едят», — жаловался он Абаю.

Обратно мы ехали втроем под снегом и дождем. Рукава у куртки стали тяжелыми, с носа падали капли. Через Чулышман переправились вброд у того места, где раньше был Солдатский мост. Альберт сказал, что его сожгли какие-то дураки — выкуривали норку, спрятавшуюся от собак между камней в основании моста. Какие именно дураки, он не сказал, он вообще старается не говорить о людях плохо.

— Утром коровы пошли к мосту, потом вернулись. Поехал смотреть — моста нет, одни угольки, — рассказал вкратце Володя, который так и работает на стоянке, где работал его отец.

Брод там плохой, с крупными камнями. Но вода не очень высокая была, мы перебрались нормально.

А потом поехали мимо заставы, как называют здесь заповеднический кордон. Это и правда старая пограничная застава, использовавшаяся по назначению до 1944 года, пока Тува не вошла в состав СССР. Здесь размещались бойцы 28-го Ойротского кавалерийского пограничного отряда ОГПУ.

Офицерский дом с крестовой крышей, солдатская казарма, в которой было

устроено несколько квартир для лесников, домик Абая. Конюшня, скотный двор, дизельная. Все это выстроено из крепких лиственничных бревен в начале тридцатых и запросто простоит еще столько же. Тогда же появился и деревянный Солдатский мост, исправно служивший людям почти восемьдесят лет.

Застава стоит в потрясающем по красоте месте под горой Башту, рядом с которой чуть изворачивается на север Чулышман.

Раньше на огромное Язулинское лесничество было выделено восемь ставок лесников и ставка лесничего. Теперь на кордоне живет только один человек — Сергей Шевченко, еще оформлены лесниками два язулинца. Когда Сергей приехал сюда в 1994 году с Донбасса, где работал шахтером, ему тогда было 22 года. Мы познакомились с ним вскоре после этого, когда вместе отправились на патрулирование на озеро Джулукуль, откуда берет свое начало Чулышман.

Хороший был поход, хотя нам и пришлось попоститься, дополнительная заброска продуктов на машине по Чуйскому тракту не состоялась. Во время нереста хариуса на Джулукуль частенько заезжают рыбаки из Тувы, а в этот раз помимо двух групп тувинцев нам удалось задержать даже управляющего делами правительства республики. Чиновник с парой десятков сетей, сорокалитровыми флягами для рыбы и надувной лодкой прилетел отдохнуть на одно из небольших заповедных озер возле Джулукуля.

Как-то в этом походе мы сидели с Сергеем вдвоем на берегу озера, укрывшись от ветра, смотрели на просторы, и я слушал его рассказы о работе на шахте. Перед нами уходил вдаль хребет Цаган-Шибэту — «белая ограда» по-монгольски, вдали белела шапка Монгун-Тайги, самой высокой вершины Восточной Сибири, а за ней лежала и сама Монголия. Там, наверху, очень красивые места. Даже не в красоте дело, не в красках, наверное, и не в живописных ландшафтах. Там, в высокогорном безлюдье, чувствуешь себя свободным, поэтому все, что тебя окружает, становится особенно прекрасным.

Серёга тогда сказал, что ему нравится. Такая жизнь ему по душе. Он, пожалуй, тут и останется работать.

Когда мы расставались с ним (мы возвращались на Телецкое озеро, а он — в Язулу), Сергей на прощанье сказал: «Давайте преломим вместе хлеб», — и мы преломили лепешку, испеченную на костре. Эта лепешка в голодном походе казалась необычайно вкусной.

И он остался работать, уже двадцать с лишним лет живет на кордоне, странствует по окружающим просторам. Несколько раз выбирался в отпуск на родину, спускался в шахту и работал пару месяцев, а потом возвращался в свое лесничество. Под его началом 380 тысяч гектар горной тайги, гольцов и тундры.

Вот этот праздничный Алтай, выглядящий нарядным даже в такую погоду, как сейчас, склоны, парковая тайга с выстриженной травой (я раньше не мог здесь передвигаться иначе, чем бегом, просторы подгоняли) — они принадлежат одинаково (или в неравных долях, но все равно принадлежат) и мне, живущему за четыре тысячи километров, и Серёге Шевченко, оставшемуся здесь работать, и Альберту с Володей, которые родились на этой земле. Мы все любим эти места. Поэтому я еду сейчас с ними и чувствую себя вполне своим. Улеглись мои московские тревоги, прошли приступы зависти, накатывающей на меня в Сибири. Мне хорошо.

Так меня мотает туда-сюда. То свой, то чужой. В Москве тоже часто так.

Кони переступают копытами по раскисшей тропе, торопятся домой, нам почти не приходится их подгонять, мы только поигрываем чумбурами — съезжаемся, чтобы поговорить, или вытягиваемся цепочкой.

В арчаках у нас мясо, возвращаться приятно, хотя мы с Альбертом так и не сделали ни одного выстрела. Володя, добывший молодого бычка, разделил с нами мясо.

— Я первая вас заметила, — говорит Люба. — В окошко увидела.

За время нашей охоты она успела много всего — ходила с Валею доить, перебирала вместе с ней и Байрамом старые фото, готовила еду, сидела с ребяташками Рустама, отправилась вместе с Олей в школу и даже поучаствовала в проведении урока английского языка.

— Такая школа уютная! И звонок дают колокольчиком. Мальчик бежит и звонит. А в школьном музее лежит игрушечный аил, который ты когда-то построил для Рустама и Юлечки.

— Оля такая молодец — занимается экологическим воспитанием, каждый год весной и осенью собирает с учениками мусор вокруг деревни, вдоль ручья.

— Еще мне очень понравился тер, как я раньше не распробовала?

Тер — густая верхняя часть не перемешанного айрака — кисломолочного напитка из коровьего молока.

— Вообще, раньше здесь так много не замечала. Как будто даже не оглядывалась кругом — не видела ни пейзажей, ни людей толком. Вся в себе была, какие-то свои проблемы решала. Теперь увидела.

Альберт одобрительно хмыкает.

Потом, уже наедине, Люба спрашивает:

— А помнишь, как я тебя к тайге ревновала?

К нам приходят Юлины ребята, и мы с ними рисуем. Астам быстро учит стихи, хорошо успевает в школе, Арчин больше мечтает о тайге, хочет работать на стоянке, когда вырастет, — быстрый, спортивный, по физкультуре пятерка. Артык еще совсем маленький, вьется за братьями, чтобы успеть не меньше них, но иногда залезает к деду на колени и замирает.

С детьми Рустам и Оли мы лепим из пластилина. У меня получаются мультяшные животные, а у Альберта — дымковская глиняная игрушка.

Рустам притаскивает нам целый мешок шишек этого года, и мы часто замираем возле огня в аиле, шелкая кедровые орешки. Иногда заходят соседи или родственники. Люба долго сидит с Валиной сестрой Ниной, потом пересказывает мне историю, как пятерых молодых ребят, в том числе и Нинино сына, посадили за хулиганство — устроили драку с новосибирскими туристами, которые шумно отдыхали на берегу Чулышмана, угощали вином местных девушек и раскидывали мусор. Туристы оказались то ли прокурорскими работниками, то ли друзьями прокурорских.

Со стороны, конечно, трудно разобраться в таких историях — кто прав, кто виноват, но у меня есть своя история добрых отношений с теми, кто живет в этой деревне. Мне всегда помогали и со мной делились тем, о чем я просил. Мне никогда не показывали, что я чужой. Может, мне просто везло, и мне попадались только исключительно хорошие люди? Но и исключительно хороших людей можно легко обидеть — вокруг Язулы есть могилы шаманов, которых хоронили, не покрывая землей, их медные украшения с костюма кто-то может взять себе на память из интереса. Есть целебные источники, с которых некоторые приезжие уносили старинные подношения. Летом гнездятся утки-огари, которых не принято стрелять. Какое-то ничего для меня не значащее место может оказаться значащим для язупинцев. Много чем можно обидеть, даже не поняв, что обижаешь.

А ребята, угодившие под суд, так и не сумели отслужить в армии, о чем очень жалеют.

Байрам тоже переживает, что не призвали. Говорит, что на призывной комиссии из-за плоскостопия.

В воскресенье едем с Рустамом и Олей на заставу к Серёге.

Его нет, он в больнице в Улагане. Повредил спину два месяца назад и никак не поправится.

Дома все такие же крепкие, стены темные, чуть красноватые. Но внутри заметно, что бывшие лесниковские квартиры уже нежилые. Осыпается штукатурка, разваливаются печки. Держать на кордонах положенный штат работников, завозить им продукты и ГСМ, обеспечивать какой-то техникой, лошадьми — уже, видно, не по карману заповеднику.

Серёгина жена открывает нам ту квартиру, где я когда-то жил.

Мало что изменилось, только теперь по стенам висят черно-белые фотографии из истории заповедника, фотографии тех людей, кто когда-то жил здесь или проходил через кордон на патрулирование границ заповедника, отдыхал, запасался продуктами или брал здесь лошадей.

Высматриваю, узнаю много знакомых лиц. Вот Абай в вечной своей залатанной телогрейке внимательно глядит в камеру.

Вот Женя Веселовский в своей ковбойской шляпе. Один из первых, с кем я познакомился в заповеднике. Женя недавно был в Москве, читал лекцию в Русском

географическом обществе. В заповедник приехал в 89-м, сначала работал в патрульной группе, потом перешел в отдел экологического просвещения, начал заниматься с детьми и молодежью. Занимается и сейчас. Однажды я наблюдал, как ему доставили из Горно-Алтайска группу неблагополучных ребят из колонии, и он водил их в тайгу заготавливать дрова по избушкам, чистить тропы, одним словом — помогать заповеднику. Они собирали вместе мусор по берегам Телецкого озера. Трудные подростки, очутившись рядом с «дядей Женей» в атмосфере таежного похода, забывали, что они «трудные», на это было интересно смотреть.

Вот Ира Филус, увлеченный зоолог, влюбленный в свою работу и, по-моему, во весь мир. Очень добрый и светлый человек, прекрасный художник и поэт, к сожалению, так рано ушедший из жизни. С ней я познакомился в апреле 91-го во время патрулирования на Богояше и Джулукуле, когда Ирина и Сергей Спицын впервые документально зафиксировали следы снежного барса в заповеднике. Захватив с собой спальники и палатку, мы долго шли по следам этой огромной кошки и двух ее котят, пока отпечатки не замел начавшийся снегопад.

Саша Лотов, неутомимый фотограф, облазивший с камерой весь заповедник, патрульщик и философ, который считает, что историческая миссия России не в том, чтобы пугать соседей или пестовать уязвленное национальное самолюбие, а в том, чтобы показать всему миру пример в деле сохранения природы, в поиске нового диалога между природой и человеком. Он писал письма различным чиновникам от культуры (включая Швыдкого) и на Первый канал ОРТ, излагая идею «нового героя» и Экологических игр, но потом с грустью отметил: «деятели культуры воспринимают природу только в плане «фэнтези». Но Саша не сдаётся.

Володя Труляев, проработавший на четырех кордонах заповедника и в главной усадьбе Яйлю. Женился на девушке из Язулы, теперь уже нянчит с ней внуков. Уезжал на пару лет в родной Питер, но вернулся в заповедник. А теперь снова планирует переселиться в Язулу. Нонкомформист до мозга костей, всегда упрямо источающий жар какой-нибудь идеи. Живущий, подобно старообрядцам, в предчувствии наступающего грядущего, в светлый канун чего-то великого. В последнем телефонном разговоре посетовал, что вся Русская Православная церковь во главе с патриархом больна недугом ереси. Но ничего, радостно успокаивал он, все будет хорошо, все исправится, это точно.

Еще и еще знакомые лица, о каждом можно рассказать что-то интересное. Маленький музей одной из уходящих эпох заповедника.

Да и сам заповедник чем-то похож на музей — огромный провинциальный, которому не выделяют достаточного финансирования. Где основные фонды скрыты от людей в запасниках и радуют лишь допущенных туда специалистов, где энтузиасты музейного дела пытаются остановить само время или хотя бы замедлить его ход.

Здание музея, давно требующее капремонта, пытаются отжать заинтересованные влиятельные лица, фонды неудержимо растаскиваются окрестным населением, и бескорыстный энтузиазм работников вызывает не меньшее восхищение, чем самые интересные экспонаты.

Мы покидаем заставу и едем к Чёртову мосту — здешней достопримечательности. Оля родом из Саратана и за время своей жизни в Язуле еще не видела это живописное место.

Чулышман, зажатый скалами, с грохотом продирается в узком русле, падает уступами, поднимая в воздух водяную пыль. Над белой пеной Чёртова порога с каменного выступа на противоположный сторону перекинута четыре бревна — уже почерневшие, провисшие, но еще связывающие берега реки. Всего четыре прогона остались от моста, построенного в одиночку человеком по имени Талбан около ста лет назад.

Красоты природы наводят на мысль заехать в гости к художнику Алёше Темдекову, который встречал нас вместе с Рустамом в Улагане.

У Алёши новый дом, стоящий на выселках — деревни отсюда почти не видно. Дом настоящего художника — бильярдная на втором этаже, на стене лук и японские мечи. Есть даже балкон, откуда открывается очень художественный вид. Алёша пока ходит по пустому дому один или копошится на дворе — сваривает железную печь для бани, ждет, когда к нему из Улагана вернется жена с новорожденной Амелией.

Я смотрю рисунки его учеников. Народные орнаменты, звери, образующие орнамент, орхонские рунические надписи, старомонгольские письмена, юрты, добрые люди в высоких алтайских шапках, родовые знаки — тамга на глиняных табличках, а вот женская фигура «мать Алтая» в высокой кошмяной шапке с вздернутой вверх косичкой, украшенной головой грифона. Именно такая шапка принадлежала принцессе Укока из могильника Ак-Алаха.

— У-у, я учитель строгий. Заставляю их переделывать, пока не получится.

Потом он предлагает сыграть в шатра — алтайские шашки. Шашки обычные, но поле сложное, с крепостями, воротами. В воротах стоит бий — король. А рядовая шатра, дойдя до последнего ряда, превращается не в дамку, а в батыра, который может скакать по полю в любом направлении и рубить врагов.

Тропа от Язулы вниз по Чулышману идет по склону вполгоры, и с нее видны расположенные на речной террасе пастушьи стоянки. Избушка, чуланы для скота, покосы, стога сена, потом изгиб реки, сосняк, а потом снова поляны, избушка, аил, чуланы, стога.

В наш южный склон бьет солнце, противоположный, обращенный на север, лежит в тени и в снегу. Внизу блестит Чулышман. На ручье, где останавливаемся попить коней, маленький водопадик — каждая веточка, травинка превратились в сосульку. Висят, как елочные игрушки, посверкивают на солнце.

На стоянке Альберта мы втроем — Альберт, Люба и я — не разместимся. Едем до следующей, которая называется Салкынду — ветренная. Место и правда ветренное.

Здесь мы ночуем две ночи в тепле, с печкой, под меховыми одеялами.

Днем ездим по окрестностям, гуляем, фотографируем, Альберт ловит рыбу, и мы вечером жарим на сковородке хариусов.

На похожей стоянке в трех километрах от заставы я познакомился сто лет назад с Альбертом. Лесников послали помогать совхозу на чesке козьего пуха. Я провел на стоянке три дня, а потом частенько забегал к своему новому другу.

Мы так же, как раньше, лежим перед сном в темноте и болтаем.

— Осенью поехал на охоту, ночевал возле озера, — и Альберт называет озеро, имя которого я не знаю. — Уже лед от берегов начал становиться, ветер сильный был. Вот я ночую один, вдруг страшный рев, крик такой с озера. Таких никогда не слышал. Я боялся, не знал, как смогу уснуть. Ружье рядом положил, но какое ружье поможет против такого зверя? Это какой-то хан Керидэ огромный кричал, наверное. Потом мужики сказали — это ветер с волнами под лед загоняют воздух, а он обратно с таким криком выходит...

Когда Альберт умолкает, слышно, как шумит в темноте Чулышман. А на склонах над стоянкой провалы, отверстия, уходящие в глубь горы. По утрам вокруг них трава покрыта пышным инеем — это надышали алмысы, живущие в провалах.

— Одного моего предка сослали в Сибирь. Раскулачили и сослали...

(У него получается как в «Баньке» у Высоцкого — «и меня два красивых охранника повезли из Сибири в Сибирь»)

— ...жена с детьми с ним сама поехала, бросать не хотела. Потом умерла там, дети умерли. Он с одним еще нашим мужиком сговорился, они море на плоту переплыли и домой пошли. Это море — Байкал, я думаю. Плот они бросили, а эти веревки из лосиной кожи, которыми бревна связывали, их ели. Но все-таки дошли до наших, до родных мест и в Кызыл-Кочко в пещерах зиму жили...

(Кызыл-Кочко — Красные Осыпи — находятся в заповеднике, километрах в пятидесяти от Язулы)

— ...у них эти длинные беш-адары (винтовки «трехлинейки») были. Наверное, спрятаны были там раньше. Так что охотились. Он на лыжах здорово бегал, пограничники не могли поймать — прямо с обрывов прыгал на этих лыжах. Наших, язулинских, послали их найти. Они их выманили, а пограничники арестовали. Одному челюсть отстрелили, другого так поймали. Надо было им в Туву уходить, а они не хотели. Раньше многие из наших туда уходили, даже этот, Шойгу, говорят, из наших, из теленгитов.

Ну вот, еще одно красивое, но необитаемое для меня место, где я несколько раз бывал, стало населено. Один раз мы сидели вдвоем с Любой на берегу узкого

вытянутого озера Кызыл-Кочко и наблюдали в бинокль, как медвежонок играет со своей матерью на другом берегу. Теперь это озеро и огромные красные осыпи над ним связаны с какой-то историей. С предком моего друга.

А истории из тех времен мне приходилось слышать здесь и раньше. Одна из поразивших меня — о том, как сдавали государству продналог. Как и другие крестьяне, язюлинцы в числе прочего должны были сдавать куриные яйца, хотя кур здесь отродясь не держали. Поэтому все семьи собирали шерсть, козий пух, и кто-нибудь из язюлинцев отправлялся верхом, с заводными лошадьми за сто с лишним километров вниз по Чулышману в Балыкчу. Совершал обмен, возвращался с яйцами, которые и сдавались государству.

Альберту не спится, он рассказывает о сыновьях одной язюлинской женщины.

— ...мы с Байрамом и с младшим из ее сыновей — Валерой на охоту поехали. Два старших к тому времени уже покончили с собой. Байраму, наверное, лет двенадцать было. Они, пацаны, днем заснули, Валере дедушка его приснился, предупреждал об опасности. Проснулся, смотрит — около их головы змея. Сам осторожно встал потихоньку и Байрама за ноги оттащил. Потом этот сурок — тарбаган — нам встретился. У тропы стоял и с собакой дрался, как будто за морду кусал. Но собаке ничего. Смотрели, а у него передних зубов уже не было — от старости, наверное. Так что он не кусал, а целовал. Кусать нечем было. Валера хотел его убить. Туда-сюда, патронов нет. И я ему сказал: «Камнем убей». Вот ругаю себя, что сказал. Он камень взял, а тарбаган человеческим голосом кричал на него: «Анайтбаза?! Анайтбаза?!» Но он все равно убил. Я хорошо слышал, два раза кричал: «Не трогай, не трогай!» Точно как человек. Тоже предупреждал, наверное. Но эти предупреждения даром пропали. Этот Валерка же, как мы в деревню вернулись, как и старшие братья, покончил с собой...

Горный Алтай давно занимает первые строчки в рейтингах регионов по количеству самоубийств, особенно детских и подростковых. Да вообще, эти верхние строчки принадлежат прежде всего регионам Севера, Урала, Сибири и Дальнего Востока. Читаешь комментарии в статьях на эту тему — какие только причины не называются. Расслоение общества, уровень пьянства в регионе, плохие школы, плохие родители, плохие чиновники, отсутствие исправно работающих социальных лифтов, «синие киты», секты, даже тема «принцессы Укока» опять всплывает.

Но все-таки мне отсюда, из Язулы, кажется — главная причина в том, что включенный по вечерам телевизор ясно показывает тебе, как живут истинные люди и ради чего следует жить. Настойчиво убеждает тебя, что ты не в тренде и не будешь там никогда. Ты оглядываешься, и понимаешь, что ты — не настоящий. То, что тебя окружает — природа, скот, горы, деревня, язюлинцы — это совсем не интересно. В лучшем случае это какая-то экзотика, но никак не настоящая жизнь. Даже нас с Любой убеждает, пока язюлинский дизель не вырубает в час ночи и телевизор не умолкает.

— Приеду в Москву, опять девчонки спросят, когда же я уже нормально в отпуск съезжу? — со вздохом говорит Люба. — Я им говорю, мне так нравится наша рязанская деревня или Алтай, но они не верят. До того не верят, что я сама сомневаться начинаю. И злюсь на них, и где-то в глубине стыжусь, что не съездила опять на теплое море или в Европу.

В последний день нашего пребывания в Язуле состоялась свадьба. Альберт был дядей жениха.

— Дядя у нас — это не просто дядя... Как объяснить? Это вроде титула. Мои дети — они тоже как дяди для него.

Вся семья загодя готовилась к этой свадьбе, титул обязывает. В пятницу вечером приехала Люба Кергилова из Горно-Алтайска и тоже впряглась в работу. Даже моя Люба приняла участие — ей выпало замешивать тесто для огромного количества баурсаков — готовили на всю деревню и приезжих гостей. Баурсаки жарили в масле на огне в аиле. Получился целый таз.

— Я все Валей люблюсь, — говорит моя Люба. — Все у нее хотят тусоваться в аиле, все забегают что-нибудь перехватить вкусенького, посидеть-поболтать. Какая-то

удивительная мудрость, скорость, выносливость! Я бы так хотела уметь. И при этом все очень спокойно, без нервов. В пятьдесят шесть лет у нее ни одного седого волоса!

Они очень смешно общаются — Валя и моя Люба. Одна по-русски, другая по-алтайски, это им не мешает.

С утра за забором привязан баран, которого растили к нашему приезду, стоит неподвижно, ждет.

Альберт все время в доме жениха, приходит к вечеру усталый, пьет чай и идет в аил резать барана.

Мелкий скот здесь режут через живот, перерывая идущую вдоль хребта артерию в груди. Не давая проливаться крови на землю. Когда-то он учил меня, и это умение пригодилось однажды, когда тесть на даче в Новосибирске решил зарезать барана по своему бурятскому обычаю в честь рождения внука.

— Сегодня там одиннадцать овец резали и бычка. Я — шесть штук. Сначала думал — пусть молодые режут, учатся, а потом решил взять грех на себя, — говорит Альберт. Он кулаком обдирает барана, останавливается, глядит на нас.

— Или это не грех?

Так резать, как это делает Альберт, — вовсе не грех. Все происходит удивительно быстро, чисто и уважительно по отношению к животному и к тому мясу, которое животное дает нам. Баран разделяется прямо на своей шкуре, и через пятнадцать минут на белой изнанке шкуры не остается ни капельки крови, мясо развешано по стенам, ребра плавают в казане, готовится кровяная колбаса и тергом из полосок желудка и нутряного сала, перевитых кишками. Наблюдать за работой — удовольствие.

Альберт берет на себя не грех, а ответственность за то, что он питается мясом животных. Сам убил — сам съел. Или угостил прибывших из Москвы друзей.

В менее «экзотическом» мире большого города, где я живу, связать наличие мяса на столе со смертью животного довольно трудно, да и неприлично, наверное. Наша агрессия скрыта, животные волокна, растираемые нашими зубами, достаются нам без пролития крови.

Еще двести лет назад гуманист Уильям Хэзлитт писал: «Животные, которых мы употребляем в пищу, должны быть настолько мелко разделаны, чтобы их нельзя было распознать. В противном случае нам не следует... допускать, чтобы форма их подачи обличала наши чревоугодие и жестокость».

И мы скрываем от самих себя не только свою хищность. Бескровно взрезая купленные в супермаркете упаковки с сосисками или с филе индейки, мы скрываем свой страх.

«Уже более ста лет продукты, которые мы едим, как и пространства, где мы обитаем, создаются на Западе так, чтобы блокировать любые напоминания о том, что мы смертны», — пишет Кэролин Стил в «Голодном городе», книге о том, как еда определяет нашу жизнь.

Должен сказать, что баран, который ни разу в жизни не пробовал комбикорм, пасся на вольных язулинских лугах и расстался с жизнью под рукой Альберта, очень вкусен.

А на следующий день с утра Альберт опять в доме жениха. Во дворе горят костры, в пяти огромных казанах готовится еда, и Альберт помешивает ее выструганными мешалками, похожими на маленькие лодочные весла. Наваристый бульон с перловкой, плов, бигус с капустой и мясом, чай — все это варится, а потом поддерживается в горячем состоянии, потому что саратанские гости опаздывают. Уже давно выехали на перевал встречающие, но гостей все нет.

Часов до трех люди ходят по двору, сбиваются кучками, перешучиваются, смеются, присаживаются за столы во дворе, смотрят, как Альберт опускает в котел с пигусом свое веслице и нажимает на рукоятку, выворачивая придонные слои на поверхность. По двору и вокруг ограды снуют, ждут костей и грызутся собаки. Ырыс, которому предстоит участвовать в церемонии, учит по книге слова благопожеланий — алкыш.

Наконец подъезжает несколько машин. Идем к дому невесты, который совсем рядом с домом жениха — метров сто. Две девочки с бантами держат тоненькие березки, между ними на веревке висит козого — занавесь. Женщины что-то поют. Но все так сразу не происходит — надо немного еще подождать. Маша Чалчикова поет резким ясным голосом, девочки держат еще не совсем облетевшие березки, за которыми,

наверное, ездили специально вниз по Чулышману — здесь березы уже не растут, слишком высоко. Одна только виднеется у Альберта в ограде, посаженная сразу после постройки дома, выросшая в тепле хорошей семьи.

И вот невеста встала на крыльце, в белом платье, синей — цвета лунного неба — безрукавке с острыми, крылатыми плечами, высокой шапке, загнутой вперед, все вышито золотом. Потом двинулась к дому жениха, скрытая завесой-кожого. Ворота жениха тоже украшены березками.

Вот она уже в своем новом доме, сидит на кровати, по-прежнему скрытая кожого, а там, за занавесью, происходит важное событие — девичья коса расплетается, волосы расчесываются на две стороны. С одного боку женщина из своей родни, с другого — из жениховой расчесывают, прощаются и встречаются, советуют, уговаривают, заплетая две косы. Но мы этого таинства не видим, ждем. Маша опять поет. По телевизору беззвучно идут мультики, котенок играет с уголком занавеси-кожого, в руках натолкавшихся в комнату гостей смартфоны и планшеты, которые фиксируют происходящее.

Ну теперь можно вступать в дело Ырысу с его плеткой-камчи. Входит в комнату, молодой, здоровый, красивый. Улыбается, начинает, сбиваясь, говорить слова благопожеланий, женщины над ним шутят, подсказывают. Плеткой поднимает и откидывает занавесь, а невеста уже с двумя косами.

А вот и жених, тоже в синей безрукавке. Садится рядом с невестой, в окно заглядывает солнце, освещает золотую вышивку на костюмах молодых — красиво. Мама жениха подносит чашку с молоком. Невеста устала от долгого ожидания, но смотреть, как блестят ее глаза, приятно.

И мы перемещаемся в клуб, идем вверх, в гору. Тут, в Язуле, везде так — идешь или в гору, или под гору. Бодро, без одышки шагает, опираясь на свою палку и на Олю, восьмидесятилетняя мама Альберта. Перед входом — большой костер.

В клуб молодые приезжают уже в обычных свадебных костюмах — платье с фатой, костюм. Розыгрыши, конкурсы, первый танец.

Семья дяди за столы не садится — некогда, да и неприлично. Юля с Любой на кухне, на раздаче, Рустам с Байрамом уже подвезли первые фляги с бульоном, поехали за пигусом и пловом. Потом чай, потом подвозить-отвозить гостей.

Клуб украшен, по стенам висят плакаты и поздравления. Народ сидит за длинными столами. Женщины цокают каблуками, мелькают прически, платья. Мужчины в тяжелых куртках, сапогах или обутках, сидят поначалу несколько скованно, положив шапки на колени, держа под столом тяжелые руки. Но стоило мне выйти покурить, как Татышев Альберт в подвернутых болотных сапогах пригласил мою Любу на танец. Собственно, в это время как раз и начались танцы.

Язула прекрасна, жива и хороша. Ни одного пустого дома во всей деревне (обычно принято говорить о темных и мертвых глазницах окон, когда речь идет о современной российской деревне). Живая, бодрая деревня — вот уж что действительно кажется экзотикой человеку из Средней России. Покосы вычищены, на ровных выкошенных полянах ни одной веточки — все подобрано и сложено в кучи. За эти покосы, как и положено, в живой настоящей деревне идет грызня, покосы делят, дарят, передают по наследству, каждый смотрит, чтобы сосед не нарушил границу. В Рязанской области, где находится наша дача, мы встречаем коров только на пакетах с молоком, когда заходим в сельский магазин, а здесь, в Язуле, мы видим коров, овец, коз, коней. Мы слышим голос и обоняем живой запах скотины. В школе сделали ремонт (неоправданно дорогой, но как без этого), и мальчик звонит в колокольчик, объявляя перемены и уроки. Ну и наконец, свадьба с танцами в переполненном здании клуба.

Танцами и закончилось наше пребывание в Язуле. Наутро Рустам отвозит нас в Улаган, где уже ждет Миша на своей маршрутке. Шесть часов — и Горно-Алтайск. А на следующий день — Новосибирск.

Александр Григоренко

Привязка к местности

Каждой весной в нашем дворе разливалась лужа — самая большая городская лужа, какую мне доводилось видеть в своей жизни. Из прямоугольного окна на лестничной клетке третьего этажа был виден только ближний ее берег, а чтобы увидеть дальний, приходилось садиться на корточки.

С первыми предвестиями разлива — когда покрывался прозрачной водой каменеющий снег — начинало бешено колотиться сердце, и все прочие события мира становились неважными. Главное дело наступающей весны — поиск плавсредства, чаще всего это был фрагмент какого-нибудь забора, которыми изобилует строящийся район. Главный подарок весны — резиновые сапоги.

Когда вода становилась темной — открывалось судоходство. Большие и малые суда курсировали без определенного маршрута, ради чистого удовольствия — плыть. Но у судоходства были враги: первый из них — родители. В случае столкновений, довольно частых, экипажи являлись домой мокрыми с ног до головы и получали ремня. Второй враг — дом 17а на северном берегу лужи, подрастающее население которого имело легендарную склонность к насилию, при этом было абсолютно сухопутным, презирало плавающих и вообще всех не причастных к серьезному освоению жизни — уличным грабежам, разделу территорий с такими же, как они. Это были деловые, постоянно занятые люди. Причаливать к северному берегу было опасно — они могли утопить из одного презрения. Но так же опасно было приближаться к этому дому и в прочие, совсем сухие времена. Впоследствии почти все топившие нас переселились в тюрьмы и на тот свет, что в округе считалось не чем-то печальным, но вполне закономерным развитием и завершением карьеры тех подростков. А бесцельно бороздившие лужу превратились большей частью в так называемых нормальных людей. Я стал одним из них.

Не знаю, есть ли теперь лужа на прежнем своем месте — скорее всего, нет. Население стало куда более требовательным к коммунальным удобствам и протестует, если что не так, чем дает телевидению темы для новых сюжетов. Никаких сюжетов из того — моего — района я не видел. А самое главное — в своем дворе я не бывал уже лет двадцать, хотя он вполне доступен и не так уж далек от того места, где я сейчас живу.

Лужа — одна из трех остающихся в памяти привязок к местности. Еще был киоск «Союзпечати» — туда я бегал смотреть на гаванские сигары в красно-золотых коробках — 5 руб. 10 шт. и 3 руб. 5 шт. Сигары никто не покупал (во всяком случае, я ни разу не видел, чтобы кто-то их курил), это был сигнал из какого-то другого мира, совсем не похожего на наш. Я мечтал поскорее дорасти до тех лет, когда мне будет позволено присвоить это чудо, сделать его своей повседневной вещью.

Другим сигналом был стеклянный прилавок-холодильник в гастрономе через дорогу, заполненный морскими существами грязно-серого цвета, похожими

на огромных насекомых. Объяснить происхождение и предназначение существ никто не мог — продавщицы испытывали к ним полное равнодушие.

Это были креветки. Так же как сигары, они были вне какого бы то ни было спроса, не только по причине цены, но, главное, из-за абсолютной, отталкивающей чуждости.

В остальном пространство, в котором я рос, являло такую нищету красок и форм, что врезались в память только исключения из него, инородные тела. Это был рабочий район, построенный ради двух огромных заводов — алюминиевого и металлургического. Формы и краски подчеркивали первичность предприятия и прикладной характер человека. Господствовали стопроцентная целесообразность, утилитарность и неприятие каких бы то ни было безделушек. Много позже я узнал, что некоторые начальники получали выговоры за попытку украсить жилые коробки неким подобием художественной лепнины по фасаду — это называлось «архитектурным излишеством». Правда, время показало, что эти начальники тоже, видимо, страдавшие от нищеты цвета и форм, боролись с ней, как могли, но главной задачей их жизни была, конечно, не эта борьба... А мне оставалось только одно — бежать. Вот я и сбежал с родины — не просто малой, а самой малой, первичной, можно сказать. Бежать — не значит оказаться далеко. Ведь иногда совсем рядом все может оказаться иным. Бежать — значит не возвращаться. «По несчастью или к счастью истина проста: никогда не возвращайся в прежние места...»

* * *

«Малая родина» появилась, когда Россия превращалась из крестьянской страны в городскую. Люди снимались с мест, по чужой воле и своей, которая часто была, по сути, тоже не своя, и к чему бы ни вело это перемещение, оно переживалось болезненно.

Чтобы появилась «малая родина», как противовес Родине «большой», ее надо было покинуть. Человек, ругающий «малую родину», считается плохим человеком. Хотя до глобального переезда ничего особо зазорного в таком ругательстве не было.

Таганрог «пуст, ленив, безграмотен и скучен», и «все это тут воочию так противно, что мне Москва со своею грязью и сыпным тифом кажется симпатичной» — Чехов не стеснялся таких слов. Хотя навещал отчий дом, благодетельствовал Таганрогу в устройстве библиотеки, установке памятника Петру... Человек не выбирает ни времени, ни места своего рождения, и если не сошелся он душой с тем пространством, где угораздило его появиться на свет, провести детство — что здесь такого? Россия велика и разнообразна, грех не искать в ней новые привязки к местности; они обязательно найдутся, если сам этого хочешь и не будешь слишком привередлив.

В русской жизни издавна существовали два начала — кочевое и оседлое. Они косо поглядывали друг на друга, но только в прошлом веке их соперничество обострилось до предела. «Кочевникам» мы обязаны созданием самой просторной страны на свете, но революции и прочие «коренные переломы» — также их порождение. И понятие «малой родины», ностальгическое по своей сути, исполненное чувством вины, также могло произойти только от них.

Но что могла бы сказать на сей предмет, к примеру, моя прабабка, которая, прожив 94 года, несколько раз выезжала на ярмарку в город и, по надобности, в соседние села? И ведь это была не неволя, тем более не лень, а образ жизни — естественный и единственно правильный, поскольку предки жили точно так же и лучшего доказательства существовать не может. Там, где-то далеко, есть другие села, губернии, Москва, есть Сибирь, наконец, далекие страны и незнакомые народы, но тебе-то что с того? Человек «из персти взят», и потому рождается уже приросшим к земле, подчиняется смене времен года, властям земным и небесным, а всякий шатающийся меж двор, идет против высшего порядка. По-моему, идеал такой жизни

лучше всех выразил человек бесконечно далекий от нас — Лао-Цзы. «Лучше, когда страна маленькая, а население редкое. Даже если имеется много орудий, не надо их употреблять. Корабли и боевые колесницы использовать тоже не надо. Воинам — лучше не воевать. Надо, чтобы жизнь в стране была такой, чтоб люди не стремились страну покинуть. Хорошо, если еда у всех — вкусная, одежда — красивая, жилье — удобное, жизнь — радостная. Хорошо с любовью смотреть на соседнее государство, слушать, как там поют петухи и лают собаки. Хорошо, чтобы люди, дожив здесь до преклонных лет, уходили отсюда с тем, чтобы уже не возвращаться вновь».

* *

Несколько лет назад из вод Рыбинского водохранилища показались купола затопленного в начале 40-х города Мологи. Об этом говорила вся пресса. Тогда же впервые был опубликован документ, который не грех процитировать вновь.

«Начальнику Волгостроя-Волголага майору госбезопасности тов. Журину
Рапорт

В дополнение ранее поданного мною рапорта, докладывая, что граждан, добровольно пожелавших уйти из жизни со своим скарбом при наполнении водохранилища, составляет 294 человека.

Эти люди ранее *абсолютно все* страдали нервным расстройством здоровья, таким образом, общее количество погибших граждан при затоплении города Мологи и селений одноименного района осталось прежним 294 человека. Среди них были те, кто накрепко прикрепляли себя замками, предварительно обмотав себя, к глухим предметам. К некоторым из них были применены методы силового воздействия, согласно инструкции НКВД СССР.

Начальник мологского лагпункта отделения Волголага лейтенант госбезопасности Складов».

Формулировка «абсолютно все» прикрывает вполне понятную растерянность лейтенанта и, без особых опасений, читается как «никто», потому что не было иного основания объяснить поступок почти трех сотен людей, продемонстрировавших один и тот же симптом своего «сумасшествия».

Мы не знаем ни одного из них, не знаем, что говорили они и что говорили им, и все ли действительно ушли под воду, поскольку затопление — процесс не быстрый. Есть только констатация крайней, смертной решимости не уходить со своей территории. Решимость по своему духу и движению — совершенно раскольническая: своя земля — и не в поэтическом измерении, а в простейшем, осязаемом — ценнее собственной жизни. Если бы такая решимость была изначальной и всеобщей, может быть, мы жили бы в такой стране, о которой говорил Лао-Цзы. Но мы живем совсем в другой...

* * *

«Меня напрасно называют космополитом. Мое отечество — французский язык» — такую строку оставил Альбер Камю в одной из записных книжек. Конечно, я не настолько радикален, одного языка мне мало. Мне нужен снег, хвойный лес и четыре отчетливо проявляющихся времени года. Это не так уж много, и потому легкодоступно на большой Родине. Время вообще делает человека все менее притязательным, отсеивает вещи, некогда большие и важные, оставляя для души лишь некий прожиточный минимум. Наверное, так оно напоминает, что впоследствии освободит тебя от каких бы то ни было привязок к местности.